

**КОГДА** сейчас — через шестьдесят лет — я пытаюсь восстановить в памяти пережитое тогда, я особенно остро ощущаю необходимость жесткой дисциплины, точного разграничения двух времен и двух восприятий.

Я не хочу спорить, не хочу опровергать легенды, бытующие в литературных кулуарах, а также и в работах некоторых мемуаристов, тем более, что я знакома с очень небольшим числом произведений этого жанра.

Попытаюсь «нелживо и неспешно» рассказать о Блоке, таком, каким я его знала в 1918—1921 годах.

Понимаю, что по многим приметам и реалиям образа жизни, быта, связей и отношений с людьми Блок пооктябрьских лет не похож на Блока 1901-го или 1908 года.

И — в этом я уверена — все-таки похож в том главным, что определяет его путь, о котором он сказал: «Вот мой путь между двух революций — прямой».

Сейчас очень легко быть «умнее» Блока, потому что он действительно не знал революционной теории и не верил в ее значение, потому что острейшее предчувствие «тектонических» сдвигов в судьбах человечества порой получало в его толковании христианско-эсхатологическую окраску. И многое еще можно напомнить и перечислить. А потом повторить слова самого Блока: вот мой путь между двух революций — прямой. «Только вкратце хочу напомнить Вам наше личное, — писал Блок в неотправленном письме к Зинаиде Гиппиус, — нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваши), но только рядом с второстепенным проснулось главное».

Я думаю, что здесь Блок — по великой беспощадности своей — несправедлив к себе. Ведь во время самой глухой реакции созданы не только стихи страшного мира, где воплотились боль за унижение человека, ненависть ко всем уродствам и болезням в жизни предреволюционного времени. В эти же годы — черные годы — созданы «стихи о России», «Ямбы», «На поле Куликовом» — цикл, пронизанный волей к подвигу, огненной любовью к родине, огненной верой в ее великое будущее. Вот это главное, языками пламени прорывавшееся даже в самое страшное время, и стало основным после Октября. Но «второстепенное» — то, что рождало в предреволюционные годы трагическую противоречивость мировосприятия, — тоже продолжало жить в сознании художника, вызывая несправедливое самоосуждение и страх перед великой силой организации, иступленное и нетерпеливое желание, чтобы все в жизни стало прекрасным — тут же, во мгновение ока.

Но взрывы второстепенного — гнев на себя и других, опасения, несправедливость оценок — не меняли главного: твердой, нерушимой веры в величие Октября, в необратимость той перемены, которую он внес в жизнь всего человечества. Об этом по-прежнему, на своем языке, он говорил мне и в 1921 году. И спасибо К. Федину, что он в своих заметках о Блоке дал этому прекрасное подтверждение. Федин вспоминает речь Блока о Пушкине в феврале 1921 года (в Доме литераторов, убежище старой интеллигенции) — трагическую речь «О назначении поэта».

«Когда в душевой передней толпились около вешалок, тесня со всех сторон Блока, к нему протолкался старый публицист, из тех, что составляли внутренний лик Дома литераторов. С очевидным удовлетворением, но с болезненной мимой он посочувствовал Блоку: — Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Андрович!

— Никакого, — ровно и строго отозвался Блок. — Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».

И эта святая верность «главному» отразилась в последние годы жизни Блока на большом и малом — на восприятии и оценке событий, людей, рабо-

те, на отношении к трудностям быта.

Аккуратный до педантизма, рыцарски вежливый, органически неспособный не выполнить даже самого незначительного обещания, бесконечно внимательный к нуждам близких и очень далеких, Блок в трудные послеоктябрьские годы мог поистине служить образцом подлинной человечности. Он с огромным уважением относился ко всем видам и формам труда. Он говаривал, что «работа везде одна — что печку сложить, что стихи написать». Ладный, высокий, неумолимый ходок, он спокойно и естественно — без интеллигентского кокетства — орудовал молотком и пилой, топором и лопатой. Блок с теннисной ракеткой не представлял, но всякую физическую работу он делал так, как делает ее русский человек — «золотые руки». Блока раздражала отвлеченность, физическая неприспособленность интеллигентов, возводящая к тому же в ранг добродетели. Жило в нем чисто горьковское отвращение к «духу», оторванному от плоти, от жизни, а также и к попыткам поднять бытовые лишения (пусть

вет предоставил в его распоряжение пролетку — по тем временам роскошь неслыханная. Реплика Блока не была фактической справкой. Кто сидел в пролетке, он не знал, так же как его собеседник. Смысл реплики в другом. Она отмечала подлинное отношение «комиссаров» к интеллигенции, работающей для народа.

Исследователи, публицисты, авторы мемуаров порой сознательно, порой бессознательно выбирают из сокровищницы мыслей, высказываний деятеля культуры, о котором идет речь, только то, что более всего подходит к их заранее данной концепции.

Но ведь в такой сокровищнице обычно живет столько противоречивых и равно убедительных утверждений! И думаю, что они настоятельно требуют спокойного и непредвзятого сопоставления.

Ведь даже Иванов-Разумник не замалчивал бессмертных слов: «всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию». Но, опираясь на строчки стихов, которые Блок создал после поражения революции 1905 года, он пытался

гвардейцев, объяснить ему цели необходимого для государства похода, поехать вместе с ним на бумажную фабрику — конфисковать всю бумагу, которая найдется на складах, и гнать ее в Питер маршрутными поездами под охраной тех же красновардейцев. С другим отрядом занять типографию. Вероятно, только так надо действовать. А для таких действий опытных людей еще нет». Слова эти были сказаны, когда Блок уговаривал С. Алянского взять на себя обязанности заведующего издательским бюро репертуарной секции ТЕО Наркомпроса.

Ссылку на малый опыт Блок не принял, справедливо посчитав: «Опыт не поможет нашему делу. Мы делаем такое дело, у которого опыта еще нет, его надо заново создавать. А чтобы его создавать, нужна полная и глубокая уверенность, что дело это очень важное и крайне необходимое».

Я на своей судьбе ощутила доверие Блока к людям, не имеющим опыта, но обладающим кое-какими знаниями и твердой верой в то, что строительство нового — «дело важ-

когда узнал, что я люблю Аполлона Григорьева, что Стриндберга знаю давно и даже читала в подлиннике. «Выясняется», — говорит он и смеется. Но главное в разговоре было все же о событиях — тоже «на своем языке».

«Сейчас ходить нельзя, разве можно ходить, надо прыгать, летать». — «Как летать?» — «Да так — летать, полет, élan», — опять помогает себе жестом и смеется.

Чтобы дать мне понятие о том, как он видит, вернее, ощущает события — он рассказывает об океане: на подступах — ручеек среди папоротников, «ли вдруг — зеленые пропасти, хляби, лохани, крабы, медузы. Что растет, что живет в океане, ведь можно помешаться если остро воспринять это — что растет, что живет в океане!».

Каждый революционный взрыв, по мысли Блока, даже взрыв, чьи масштабы бесконечно малы по сравнению с Октябрем, или даже предрощение взрыва отражались в искусстве конфликтом музыки с нравственностью: свидетельством тому — Карл Моор и Владимир Дубровский, капитан Ахав и Вильям Радклифф.

В этом, кстати сказать, пафос блоковского «Катилины». Блок очень настойчиво относился к излюбленным в ту пору профессорским разглагольствованиям о «нравственности» (в пику «безнравственности» большевиков).

«До сих пор, — пишет Блок в отзыве на статью Ф. Зелинского о двух трагедиях Иммермана, — искусство считают возможным выпускать только в попонке и на ленточке, под надзором нравственности... Все-таки — это еще средние века мысли. А реальная политика, насколько могу судить, давно уже сама такую этическую попонку сбросила; хорошо или плохо она поступила, не знаю, но по-своему она права... Если искусству не перечить, оно с нравственностью встретится; если же не отставать от него ни на шаг, твердить художнику на каждом шагу — будь панинкой, то художник начнет бунтовать и выкрикивать свою правду, хотя бы очень грубыми словами, вроде «Октября в искусстве». Слова эти грубы, приспособленные к газетной злобе дня, но в них содержится глубокая правда. Словом, я хочу сказать, что едва мне скажут, что искусство ходит на веревочке у нравственности, я, художник, немедленно примыкаю к стану футуристов, бросаю на баррикаду». Не случайно эта инвектива родилась при чтении статьи Ф. Зелинского. Блок все время опасался, что вместе с как будто самым бесспорным, самым краеугольным понятием «нравственности» в дело строительства новой культуры просочится и профессорское, либеральное, «кадетское» толкование этого понятия.

«Кадет» — это в устах Блока было самое достойное осуждения, самое ненавистное понятие.

«Кадет — он круглый, за него не ухватишься», — говорил Блок в первом же нашем разговоре. «Верно, и слова круглые», — ответила я.

По мысли Блока, все, что было живым и благородным в среде «шампанских либералов» 40-х годов, в их поздних и выродившихся потомках превратилось в словесную шелуху и лицемерие. И особенно ненавистным для Блока все это было потому, что, как он говорил, «кадетское» и во мне сидит, оно мое — по крови. Я не думаю, чтобы это было справедливо. Но «второстепенное» в его сознании жило, и с ним мне скоро пришлось столкнуться.

Первую нашу встречу завершили два эпизода.

— Я хотел бы вам подарить какую-нибудь мою книгу, — сказал мне Блок, когда я собралась уходить.

— Спасибо, — ответила я — но у меня все они есть. (Впоследствии он сказал мне, что ответ ему ужасно понравился.)

— Ну, а мой Аполлон Григорьев — он не так давно вышел — у вас есть?

— Нет, его нет.

— Тогда я вам его подарю.

И уже в передней, когда была открыта дверь на лестницу, он вдруг спросил:

— А «К Лавинии», где «тополей старых качанье», вы помните?

— Нет, не помню.

И тут же, у открытой двери, он прочел все стихотворение наизусть.

Е. КНИПОВИЧ

# ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

К 100-летию со дня рождения

самые тяжелые) до уровня духовной трагедии.

Пафос замаятинской «Пещеры» носил для Блока, как и для всех настоящих людей, несколько комический характер. По своему опыту знаю — нелегко терпеть отсутствие тепла и света в доме, постоянное недоедание, а то и голод, обмороженные руки. И очень легко волочить, например, на самодельных саночках (а то и просто волоком на веревке) бревно от разобранного деревянного домишки на окраине к себе домой. Но к восприятию событий, работе, интересам все это как бы не имело прямого отношения. Никто из настоящих людей в то время не бодрился искусственно — просто эти реальные невзгоды лежали в другой плоскости, чем все, чем одаривала тогда жизнь. А от тягот быта оборонялись юмором, шуткой. Так, помню, на чуть пародийно-торжественную интонацию, с какой Блок произнес:

*Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всегла  
Как собеседника на пир,  
— Любовь Дмитриевна откликнулась:  
«Призвать-то призвали,  
вот только кормят на пиру  
неважно».*

В последние годы жизни Блок любил огоршить поклонника «абсолютных ценностей» заявлением вроде: «У купца честность одна, у барина — другая, а у мужика — третья». И неожиданно утвердив классовость морали, с интересом поглядывая на раздаленного его «цинизмом» собеседника. А по уходе его заявлял мне с озорной усмешкой: «Это я ему нарочно сказал!»

Не менее скептически относился он к инвективам против «комиссаров». Так, некий защитник прав личности, мобилизованный на расчистку улиц после зимних заносов, поведая нам о том, что он в знак протеста свёрнул лопату грязно-го снега в проезжавшую мимо комиссарскую пролетку. «А в пролетке сидел Анатолий Федорович Кони», — приподняв брови, спокойно внес поправку Блок. Дело в том, что ученый-юрист А. Ф. Кони, знакомый или друг многих больших или даже великих писателей, сразу после Октября включился в культурно-просветительную работу. Он выступал с лекциями и воспоминаниями о Толстом, Достоевском, Тургеневе. А. Ф. Кони был в ту пору человеком старым и к тому же тяжело-больным. Вот почему Петросо-

обосновать свою концепцию отношения Блока к победившей революции 1917 года, Великой Октябрьской социалистической революции. Блок-де принял и воспел стихийную силу — вихрь, разрушающий старый мир, но после «Двенадцати», после января 1918 года стал угасать, не найдя себе места и доли в строительстве нового, безрадостно, ради хлеба насущного, выполняя культурно-просветительские обязанности.

Это неправда. Или, точнее, одна из тех отвратительных обывательских полуправд, которые, упрощая, в корне извращают подлинную правду.

Надо очень предвзятым взглядом прочесть то, что Блок написал в 1918—1921 годах — от «Интеллигенции» и революции» до «О назначении поэта» и «Без божества, без вдохновения», надо закрыть глаза на все раздумья в дневниках и записных книжках о театре для народа, для нового зрителя, об изданиях классиков для нового читателя, о том, как сейчас должны по-новому прозвучать Шекспир, Гёте, Гейне, чтобы твердить об усталом равнодушии Блока к строительству культуры. Слова о том, что ему надоели слишком многочисленные заседания? А кто их любит, даже тогда, когда они не посвящены «объединению Тео и Гукона!» Надоело многое другое — претензии О. Д. Камековой, борьба самолюбия в театре, профессорская тугодумность и умеренность? Так это же были завалы старого на пути строительства нового. После заседания Комиссии по изданию русских классиков (при Наркомпросе) Блок писал:

«Это — труд великий и ответственный. Господа главные интеллигенты не желают идти в труд, а не «с кондачка». Вот что я еще понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой. Тут-то и нужна их помощь. Крылья у народа есть, а в умениях и знаниях надо ему помочь. Постепенно это понимается. Но неужели многие «умеющие» так и не пойдут сюда?» Блок — один из первых — «пошел». И спасибо хорошему человеку Самуилу Мироновичу Алянскому за то, что он в воспоминаниях своих сохранил отчаянно максималистские планы Блока для практического «совмещения» рабочей и крылатой стороны культурного строительства. «Все нужно добывать революционным путем. Может быть, надо взять отряд красно-

ное и крайне необходимое». И если С. Алянский в 26 лет стал заведующим издательским бюро репертуарной секции ТЕО, то я в двадцать стала заведующей группой архивных разысканий той же секции, возглавляя которую сам Блок.

С первых дней, с первых шагов нашего знакомства я ощутила, тогда еще не очень понимая и обобщая, эту неразрывную в сознании Блока связь между «крылатой» и «рабочей» стороной культурного строительства.

Поводом для нашего знакомства стало то, что в декабре 1917 года я послала Блоку по почте стихи, которые я писала, потому что происходящие события заставили меня усомниться в них. Мне был нужен совет скорее не литературного характера. Стихи были «дооктябрьские», и в ответном письме Блок справедливо сказал: «Я мог бы сделать Вам довольно много технических замечаний относительно Ваших стихов, которые пока — ничьи, но могли бы стать Вашими при известных условиях и т. д.

...Оттого ли, что Вы так любите искусство, Вы очень замкнулись — лица не видно, голоса не слышно. По стихам и по письму мне кажется, что Вас не коснулись события... Не думайте, что я Вас призываю думать о политике. Я Вас призываю к потрясению, к прозрению, к удивлению, с которого начинается поэзия, также и философия».

Что касается стихов, то тут я в ответном письме не стала спорить, но о «незатронутости» событиями сказала довольно сердито.

В ответ тут же пришло коротенькое письмо: «Простите, если я Вас не понял. Я не хотел Вам причинить неприятность. Переписываться теперь трудно, если хотите — зайдите просто, позвонив по телефону, чтобы застать меня дома».

Так и произошла наша первая встреча и трехчасовой разговор, самое любопытное — не о стихах, а о революции, жизни, культуре.

Я отметила в дневнике, когда (не регулярно) вела тогда, и то, что Блок говорит «очень по-своему», «на своем языке» (это он тут же обнаружил и в этой манере говорить), что много он помогает в разговоре жестом и улыбкой. «Бывают разговоры такие, такие, а у нас с Вами — такой (круто ведет рукой вверх)». Обрадовался,